

такое стремление для Пушкина в середине 30-х гг., можно судить по сцене, описанной в воспоминаниях И. А. Гончарова: бывшие непримиримые враги Пушкин и Каченовский встречаются на лекции в университете и вступают в ученую дискуссию о подлинности «Слова о полку Игореве». «Пушкин говорил с увлечением, но тихо, сдержанным тоном, – отмечает Гончаров. – В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека» (2 : 251–252). Об этой встрече поэт с удовольствием упоминает в письме к жене, противопоставляя ее прежним временам, когда они с Каченовским «бранились, как торговки на вшивом рынке» (4 : 33).

Воплощение принципов достойной дискуссии, демонстрация «золотой середины» между утверждением «святости» всякого печатного листа и циничной торговлей ресурсами печати – это важнейшая задача, поставленная Пушкиным, и она в полной мере реализована четырьмя номерами «Современника». Не вина Пушкина, что преподанный им урок благовоспитанности не привился русской печати и она направилась по пути противоположному – к эпохе еще более кровавых журнальных спаррингов, в которых вскоре станет чемпионом уже Некрасовский «Современник».

Библиографический список

1. Антонова С. Г., Соловьев В. И., Ямчук К. Т. Редактирование. Общий курс // <http://www.mgup.ru/address>.
2. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2-х т. Т. 2. СПб., 1998.
3. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. Т. 8. Романы и повести. Путешествия. М., 1995.
4. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. Т. 15. Переписка. 1832–1834. М., 1996.
5. Вацуро В. Э. Пушкин и литературное движение его времени // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.
6. Современник, литературный журнал А. С. Пушкина. 1836–1837: Избранные страницы. М., 1988.

Ю. В. Лебедев

*Костромской государственной
университет им. Н. А. Некрасова*

О ДУХОВНЫХ КОРНЯХ РЕАЛИЗМА Н. В. ГОГОЛЯ

Творчество Гоголя обозначило новую фазу в развитии русского реализма. Сначала Белинский, а потом Чернышевский стали утверждать, что этот писатель явился родоначальником «гоголевского периода» в нашей литературе, который начался со второй половины 1840-х годов. Правда, содержание этого нового периода сводилось у них к развитию так называемого обличительного направления в литературе. В Гоголе они видели первого писателя-сатирика, сокрушившего в «Мертвых душах» коренные основы существовавшего в России общественного строя. Это был крайне односторонний взгляд на существо реализма Гоголя. Ведь

не случайно же Достоевскому, глубоко религиозному писателю, чуждому идеологии революционной демократии, приписывается фраза: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”». Дарование Достоевского, считавшего себя наследником Гоголя и Пушкина, бесконечно шире и богаче социального обличительства. «Гоголевское направление», утверждаемое Белинским и Чернышевским, просуществовало недолго и ограничилось, в сущности, творчеством писателей второй половины 1840-х годов, группировавшихся вокруг Белинского и получивших, с лёгкой руки Булгарина, кличку писателей «натуральной школы». Подлинно гоголевская традиция, оказавшаяся продуктивной, развивалась в ином направлении.

Если подыскивать реализму Гоголя аналогии, то придётся вспомнить о писателях Позднего Возрождения – о Шекспире и Сервантесе, остро почувствовавших кризис того гуманизма, который с оптимизмом утверждали писатели Раннего и Высокого Возрождения в Италии. Этот гуманизм, традиции которого не умерли и в наше время, сводился к идеализации человека, его доброй природы. Новая русская литература, начиная с Пушкина, никогда не разделяла такой облегчённой веры в человека, сознавая истину православно-христианского догмата о помрачённости его природы первородным грехом. Этот взгляд очевиден у Пушкина, начиная с «Бориса Годунова». Русское Возрождение не порывало столь резко с религиозной традицией, как это случилось на Западе, и отстаивало гуманизм христианский, сознавая, что сама вера в человека изначально выросла из христианского сознания его связи с Богом. Конечно, реализм Гоголя существенно отличается от реализма Пушкина. Но природу этого реализма нельзя свести к социальному обличительству, её можно понять лишь в соотношении творчества и эстетических позиций Гоголя с творчеством и эстетическими позициями Пушкина.

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь поместил написанные в 1843 году, сразу же после завершения работы над повестью «Шинель», «Четыре письма к разным лицам по поводу “Мёртвых душ”». В них он поставил перед русскими людьми горький вопрос: «Вот уже почти полтора года лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынные, грустные и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо всё вокруг нас, точно как будто мы до сих пор ещё не у себя дома, не под родною нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приёмом братьев, но какою-то холодной, занесённой вьюгой почтовою станцією, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с чёрствым ответом: “Нет лошадей!” Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство?» (1 : 147–148)

Созданный в этом этюде образ безлюдной стихии, неосвоенных хаотических пространств перекликается с ключевым эпизодом «Шинели»:

«Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днём не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались ещё глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже – масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он при-

близился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне её домами, которая глядела страшную пустынею.

Вдали, Бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Весёлость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точно море вокруг него. “Нет, лучше и не глядеть”, - подумал он и шёл, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забило в груди. “А ведь шинель-то моя!” – сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать “караул”, как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, промолвив: “А вот только крикни!” Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего больше не чувствовал» (3, 147–148).

Та же тема с новыми вариациями повторилась в истории «значительного лица»: «Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и неведь от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлопуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкаться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было “бледно”, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: “А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, – отдавай же теперь свою!”»(3, 158)

По мере движения повести к финалу образ разгулявшейся и разыгравшейся стихии становится всё более масштабным и угрожающим. Начинается с издевательств над бедным Акакием Акакиевичем его сослуживцев, которые сыпали ему на голову бумажки, *называя это снегом*. Потом сообщается, что «есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш *северный мороз*». Именно перед лицом этой *зимней* стихии, как человеческой, так и природной, Акакий Акакиевич вдруг начинает чувствовать непоправимые «грехи»-огрехи в его шинели.

Для него шинель – не только одежда, но живая, одушевлённая вещь, более того, шинель – это защита, это тёплая заступница от стихии «мира холодного». Шинель – символ обожествляемой им и защищающей его государственности. И вдруг он чувствует, что «в двух-трёх местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпанка; сукно до того истёрлось, что сквозило и подкладка расползлась». Эта шинель «*имела какое-то странное устройство*: воротник её уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других

частей её», или, по словам Петровича, «только слава, что сукно, а *подуй ветер, так разлетится*» (3, 134, 137. Здесь и далее курсив мой. – Ю. Л.).

Новая шинель даёт Акакию Акакиевичу надежду на *вечное* покровительство, неспроста он одержим идеей «*вечной шинели*». Но вот, уходя с вечеринки, устроенной сослуживцами, герой «отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел *лежавшей на полу*». Этот мотив возникает ещё в самом начале повести, где некий капитан-исправник жалуется верхам, что гибнут государственные постановления, потому что «*священное имя его произносится всуе*». *Священной* становится *не божественная природа* власти, *а человеческая её ипостась, земная её вещественность, внешняя её форма*. Человек, наделённый чином, «очеловечил» эту власть до того, что от её божественного происхождения остались одни бездушные мундиры – шинели. В мире российской государственности непомерно разрастается значимость «человеческого фактора» за счёт погашения божественной харизмы носителей власти, погружающих российскую государственность в стихию полного хаоса и раздора, превращающих власть в пленницу земных человеческих несовершенств.

Символичен образ генерала, изображённый на табакерке (!) Петровича, «генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четверугольным лоскуточком бумажки» (3, 137). Белая бумажка – вместо лица! Символ власти, потерявшей своё лицо, утратившей «образ Божий»! И когда портной Петрович произнёс неумолимый приговор о необходимости изготовления новой шинели, «у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и всё, что ни было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно *одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом*, находившегося на крышке Петровичевой табакерки» (3, 137). Есть в этой детали что-то роковое, какое-то недоброе предчувствие.

Подобно бедному Евгению из «Медного всадника» Пушкина, Акакий Акакиевич терпит бедствие от разгула Стихии и хочет найти защиту у Государства. Но в лице служителей его гоголевский герой сталкивается с полным равнодушием к своей судьбе. Его просьба о защите лишь распалила горделивую спесь генерала. «Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего этого не помнил Акакий Акакиевич» (3, 153). Равнодушие значительного лица слилось со злым холодом природной стихии: «Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырёх сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель» (3, 153).

Уходя из жизни, Башмачкин взбунтовался: он «сквернохульничал, произнося страшные слова», следовавшие «непосредственно за словом “ваше превосходительство”». (Вспомним «уже тебе!» бедного Евгения в «Медном всаднике»). Со смертью Башмачкина сюжет повести не обрывается. Он переходит в фантастический план. Начинается возмездие, бушуют вышедшие на поверхность жизни стихии, с которыми, как у Пушкина в «Медном всаднике», «царям не совладеть!»

Сперва – земные разбойники-грабители, сорвавшие в центре Российской империи с бедного Акакия Акакиевича новую шинель, потом – фантастический при-

зрак вставшего из гроба мстителя-Башмачкина, пострадавшего от равнодушия «значительного лица», наконец, – уже не персонифицированное Привидение, олицетворяющее стихию мятежа, которое угрожало блюстителю порядка:

«И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилён <...> он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: “Тебе чего хочется?” – и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: “Ничего”, – да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте» (3, 159).

Будочник, пассивно бредущий за разбушевавшейся стихией, символичен: он набирает это символическое звучание в контексте всей повести. Вспомним, что в момент ограбления Акакия Акакиевича, «вдали, Бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света». «Шинель», завершённая Гоголем в 1842 году, перекликается с «Повестью о капитане Копейкине», включенной в первый том «Мёртвых душ». Финалы обеих повестей – бунт возмущенной Стихии против потерявших образ Божий служителей российской государственности. Видя в возмущении стихий Божье попущение, объяснимый акт возмездия, Гоголь считал эти стихии закономерными, но опасными, разделяя мысли Пушкина о русском бунте, «бесмысленном и беспощадном». Спасение от социальных и государственных болезней, охвативших русское общество, Гоголь искал на путях религиозно-нравственного самовоспитания. В этом заключался главный пункт расхождения писателя с зарождающимся русским либерализмом и революционной демократией.

В известную русскую поговорку «не место красит человека, а человек место» Гоголь вносил высокий христианский смысл, суть которого заключалась в том, что Бог определяет человеку место и, занимая его, человек должен служить не своим прихотям, а Богу, его на это место определившему. Коренной порок российской государственности он видел не в системе мест, её организующих, а в людях, занявших эти места. И порок этот касался не только «маленьких людей», мелких чиновников, но и «значительных лиц», которые у Гоголя в повести не персонифицируются и теряют лицо не только по цензурным причинам, но и по всеобщности распространения этого порока – утраты людьми образа Божия. Стихия мести, вызванная этим пороком, приводит к тому, что хаос сдирает шинели «со всех плеч, не разбирая чина и звания».

Во втором томе «Мёртвых душ» генерал-губернатор, почувствовав бесплодность борьбы со взяточничеством административными мерами, собирает всех чиновников губернского города и произносит перед ними такую речь: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленьё, гораздо сильнеее всякого законного. Установились свои условия; всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он

в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды...» (5, 400–401)

Гоголь развивает эту же мысль в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более, как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желания применить его к делу тою именно стороною, какой нужно, какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлён понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того всё обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большую сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку... Словом – у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолобием, и самолюбием, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон – служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего» (6, 148, 149).

И этот вывод, заключённый в подтексте гоголевской «Шинели», касается не только «маленького человека», мелкого чиновника, не только «значительного лица», но и всего Государства во главе с самим Государем (показательна в этой связи с виду проходная художественная деталь – «вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента»).

«Власть государя – явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле. При всём желании блага он спутается в своих действиях, особливо при нынешнем порядке вещей в Европе, – писал Гоголь в исключённом цензурой фрагменте «Выбранных мест из переписки с друзьями», – но, как только почувствует он, что должен показать в себе людям образ Бога, всё станет ему ясно, и его отношения к подданным вдруг объяснятся. В образцы себе он уже не избрёт ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни Людовиков, ни одного из тех государей, которым придаёт мир название великого... Но возьмёт в образец своих действий Самого Бога...» (2 : 223).

Неудача второго тома «Мёртвых душ» говорит, скорее всего, о неподъёмности для смертного человека тех задач, которые Гоголь перед собой поставил. Ведь ему хотелось, чтобы книга повернула на новый путь духовного возрождения всю Россию. Для этого ему нужно было «найти всемогущее Слово» – равное тому, какое «было у Бога и было Бог». Нет сомнения, что Гоголь тут переоценивал силы и возможности даже своей исключительной одарённости, своей писательской гениальности.

Библиографический список

1. Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1959. Далее ссылки на это издание привожу в тексте с указанием тома и страницы.
2. Гоголь Н. В. Соч. / под ред. Н. С. Тихонравова. Т. 7. СПб., 1900.